

Крестьянство: проблемы социальной философии и социальной теории*

Русское крестьянство, столыпинская реформа и коллективизация: спорные вопросы сквозь призму науки и идеологии

Андрей Фурсов

Общественный продукт в России и мобилизационно-кризисный режим русской жизни

Специфическое положение русского крестьянства, когда его общинность диктовалась не только его интересами, но также интересами и давлением власти, обусловило парадоксальную специфику русского крестьянства, который не столько коллективист, сколько антииндиви-

дуалист, и не столько индивидуалист, сколько антиколлективист, причем оба анти, одновременно.

Тему этой специфики, заключающейся в том, что русский крестьянин жил на стыке сопротивления коллективу и власти и преодоления индивидуализма – своего и общинников, т.е.

ФУРСОВ Андрей Ильич – директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета; академик Международной академии наук (Инсбрук, Австрия).
E-mail: rusint@bk.ru

Ключевые слова: совокупный общественный продукт, столыпинская реформа, коллективизация, идеология.

* Окончание. Начало см. “Обозреватель–Observer”. 2012. № 6.

на кончике негативного диалектического противоречия, поднял на круглом столе В.П.Булдаков¹.

Мысль о природе русского человека как не коллективиста и не индивидуалиста, а антиколлективиста и антииндивидуалиста одновременно высказал кто-то из наших ученых XIX в. Мысль интересная и немало может объяснить, но дело в том, что минус на минус дает плюс, и мы получаем весьма интересный социальный и психоисторический тип коллективистского антиколлективиста и антииндивидуалистического индивидуалиста. Не эту ли черту имел в виду А.Платонов, говоря, что русский человек может жить в одну сторону и в другую, и в обоих случаях останется цел и невредим?

И дело здесь вовсе не в приспособленчестве, а в чем-то ином, в некоей простой сложности. Не она ли объясняет пластичность русского человека вообще («Назови хоть горшком, только в печь не ставь») и в смутах и революциях в частности. К сожалению, тема специфики русского психоисторического типа как фактора смут/революций не прозвучала в дискуссии, но очень важно, что она обозначена Булдаковым, и я могу лишь согласиться с его констатацией двойного анти-

Нельзя не согласиться с Булдаковым и в том, что «весь уклад жизни великорусского населения Европейской России носил четко выраженный “мобилизационно-кризисный характер”² причем как по природно-производственным (евразийское неудобье, зона рискованного земледелия со средней урожайностью сам-3, сам-4), так и по историческим причинам (набеги, постоянные войны).

И это тоже придавало русскому крестьянству такие черты, которых не было ни у одного другого крестьянского типа. При этом единственным защитником и организатором крестьянства выступала опять же власть, причем защитником не только от внешнего супостата, но и от своих же господ.

Одна из особенностей русского хозяйства, и это прекрасно показали Л.В.Милов и представители его школы, заключается в том, что оно создает незначительный по объему общественный продукт, а следовательно, и прибавочный продукт – много меньше, чем, например, в Западной Европе. На Руси всегда было меньше вещественной субстанции, чем на Западе, всегда меньше накопленного, овеществленного труда, который при самовозрастании и в обмене на рабочую силу превращается в капитал. По части обладания потенциалом накопленного труда, т.е. спрессованного времени, Россия всегда находилась в другой лиге по сравнению с Западной Европой.

На это как на факт, поражающий русский глаз и русский ум, указывали наши мыслители.

Так, пораженный «буйством вещности» Л.Н.Тихомиров, бывший народоволец, а затем искренний монархист, писал: «Перед нами открылось свободное пространство у подножия Салев, и мы узнали, что здесь проходит уже граница Франции.

Это огромное количество труда меня поразило. Смотришь поля. Каждый клочок огорожен толстейшей, высокой стеной, склоны гор обделаны террасами, и вся страна разбита на клочки, обгорожена камнем. Я сначала не понимал загадки, которую мне все это ставило, пока, наконец, для меня не стало уясняться, что это собственность, это капитал, миллиарды миллиардов, в сравнении с кото-

рыми ничтожество наличный труд поколения.

Что такое у нас, в России, прошлый труд?

Дичь, гладь, ничего нет, никто не живет в доме деда, потому что он при самом дедке два-три раза сгорел.

Что осталось от деда? Платье? Корова? Да ведь и платье истрепалось давно, и корова издохла.

А здесь это прошлое охватывает всего человека. Куда ни повернись, везде прошлое, наследственное... И невольно назревала мысль: какая же революция сокрушит это каменное прошлое, всюду вросшее, в котором все живут, как моллюски в коралловом рифе».

Тихомиров совершенно верно уловил, что капитализм – это лишь верхушка, надстройка над той массой вещества, которая создана задолго до него – в Средневековье. Прав он и в том, что в России масса, унаследованная от хронологически той же эпохи, несравнимо меньше.

Неслучайно русское развитие шло не вглубь, а вширь. При таком развитии собственность не может быть прочной, равно как и основанная на ней система. Овеществленный (прошлый) труд всегда менее значим по сравнению с живым трудом и землей. Поэтому контроль над людьми и пространством здесь всегда важнее контроля над вещами и временем. В связи с чем капитал, который по сути есть овеществленный труд, никогда не будет играть в «руссосфере» системообразующую роль, как и классы.

Собственно, классовое деление общества в России всегда, будь то даже пореформенная или постсоветская эпохи, носило в значительной степени искусственный характер ввиду его неорганичного с социосистемной точки зрения, а то и криминального происхождения.

С учетом сказанного ясно, что Россия не могла позволить себе ни господствующие группы «западоидного» типа (будь то феодалы или буржуазия), ни бюрократию западного образца. Отсюда – бедность основной массы как русского дворянства, так и русского чиновничества. Формирование на русской почве групп западного или даже квазизападного типа возможно только в том случае, если помимо прибавочного продукта «новые господа» начинают присваивать и определенную часть необходимого продукта, т.е., называя вещи своими именами, жизнь; «западоидный» прогресс верхов становился регрессом низов, выталкиванием их из социального, а то и из физического времени.

Новые «западоподобные» господствующие группы растут в буквальном смысле на костях населения – «питерский принцип» или «питерская версия» русской истории: город и страна, построенные на костях их строителей при резко сокращающемся населении.

Разумеется, подобное «социальное оборзение» верхов чревато:

– *во-первых*, сопротивлением, бунтами, а то и восстанием низов;

– *во-вторых*, острым конфликтом внутри самих господствующих групп, среди которых развивается конкуренция за продукт, причем объективно объектом эксплуатации или, как минимум, отсечения от прежней доли «общественного пирога» становится и нижняя часть господствующих групп: «большие рыбы» (то бишь троекуровы) начинают пожирать «малых» (то бишь дубровских). Результат – поляризация, обострение всех противоречий, угроза распада страны.

В связи с этим одной из главных функций центральной власти в России было ограничение эксплуататорских appetites верхов. И не потому что власть так уж любила низы – отнюдь нет. Учет и контроль в сфере эксплуатации был средством общего социального контроля, с одной стороны, и поддержания иерархии внутри самих господствующих групп – с другой.

Неудивительно, что низы и нижняя часть господствующих групп, как правило, поддерживали центральную власть, центроверх в борьбе с «боярством», как бы оно ни называлось. Но не потому что эти группы любили власть, их отношение к ним можно охарактеризовать как *hassliebe*, а потому что чувствовали: эта власть, по сути, единственное, что может защитить их от произвола, дать укорот алчной верхушке, посягающей на необходимый продукт.

В то же время такое посягательство как систематическое явление было невозможно как минимум без прямой или косвенной поддержки государства, а то и без его активного участия.

В русской истории было два случая, когда центральная власть срывалась таким образом, нарушала главное учетно-контрольное правило русской власти (тем самым превращаясь во власть в России) и, вступая в союз с верхушкой господствующих групп, переплетаясь с ними, «олигархизируясь», начинала вместе с ними эксплуатировать, а то и просто грабить население. Эти два случая – период 1861–1917 гг. (по инерции некоторые черты его сохранялись до 1929 г., пока не «прихлопнули» НЭП)

и период, начавшийся на рубеже 80-х – 90-х годов.

Оба периода характеризуются:

- ухудшением положения низов;
- расслоением господствующих групп;

- появлением наряду со старыми господствующими группами новых, «капиталистическое» качество которых носило спекулятивный, грабительский, а то и просто криминальный характер;

- разбуханием чиновничьего аппарата (люди стремились в него за своей «пайкой» необходимого продукта);
- олигархизацией власти.

Кстати, олигархизация власти в России в капиталистическую эпоху – это всегда ориентация на сырьевую, а следовательно, финансово-зависимую модель включения в мировую систему.

Первопроходец здесь – Александр II, затем линия протягивается к Горбачеву, Ельцину и далее. Этим сравнением я не хочу оскорбить Александра II, а просто фиксирую типологическое сходство: Российская империя как зависимый элемент мировой системы (1860–1920 гг.) и Российская Федерация как зависимый элемент глобальной системы (1990–2000 гг.) *versus* Россия как мир-система (1450–1850 гг.) и Россия/СССР как мировая (системный антикапитализм) система (1930–1980 гг.).

Возвращаясь к выступлению Булдакова, не могу не отметить и несогласие с рядом его тезисов. Например, он пишет о неких условиях выхода «из исторического безвременья аграрного общества»².

Да почему же безвременья? У нас что, вся тысячелетняя аграрная эпо-

ха – это безвременье? А эпоха до возникновения земледелия – супербезвременье?

Я не цепляюсь к словам – формула «безвременье аграрного общества» носит оценочный характер, с которым не могу согласиться. Не могу согласиться и с трактовкой идеологических и геополитических факторов как субъективных, противопоставляемых объективным²; под последними, по-видимому, имеются в виду экономические.

Полагаю, что и идеология (идеи, овладевшие массами или хотя бы элитой, – это материальная сила) и уж тем более геополитика, за которой стоят долгосрочные экономические интересы – самые что ни на есть объективные факторы по данной классификации.

Что значит, «субъективный»? Имеющий отношение к представлениям кого-то о чем-то, причем чаще всего индивидуальные.

Человек оказался в сложной ситуации, объективно обстановка складывается определенным образом, но субъективно данный человек воспринимает и оценивает ее иначе и, руководствуясь этими субъективными представлениями, действует и допускает ошибку.

Думаю, пошедшее с легкой руки Ленина (с него спрос малый, он практик, а не теоретик, тем более с оценкой «хорошо» по логике в школьном аттестате) разделение факторов на объективные и субъективные.

Правильно, на мой взгляд, говорить о системных факторах и субъективных. Под последними я понимаю те, что связаны с вполне объективными целями, представлениями и ценностями основных коллективных субъектов, действующих в той или иной стране или в мире. Воля и ин-

терес правящего слоя той или иной страны – это что, не объективный фактор? Не менее объективный, чем экономические показатели этой страны – системный объективный фактор.

Когда Булдаков пишет, что империя, базирующаяся на аграрном обществе, уязвима по определению², у меня возникает вопрос: а империи, базирующиеся на индустриальном обществе, неуязвимы?

Дело в том, что уязвима по определению любая империя – чем сложнее организация, чем длиннее и многочисленнее связи, тем система уязвимее. И уж совсем странным выглядит следующий тезис: «Не удивительно, что наша постсоветская современность пронизана крестьянской ментальностью в ее колхозно-деформированном виде. Если известно, что в крестьянской среде насилие считалось наиболее действенным регулятором взаимоотношений и внутри общины, и вне ее, то стоит ли удивляться, что XX век в истории России оказался столь пронизан насилием»².

Постсоветская современность пронизана крестьянской ментальностью? Где доказательства? Социологи, например, говорят о ментальности маргиналов и отчасти криминалитета, охватившей в той или иной степени значительную часть населения.

В крестьянской среде насилие считалось наиболее действенным регулятором взаимоотношений? Если бы это было так, то крестьянский быт был бы сплошным мордобоем и резней, но это совершенно не так. Обычай, сход и иные вполне ненасильственные формы регуляции

отношений хорошо описаны антропологами. Сказать, что насилие считалось у крестьян наиболее действенным регулятором отношений, значит, забыть о том, что у крестьян существовала социальная организация, что сам крестьянский мир был элементом властно («государственно») организованного целого. Другое дело, что в периоды кризисов, разложения этой организации, ослабления социального контроля и социальных норм, не говоря уже о периодах смут и революций, насилие действительно выходит на первый план, происходит брутализация жизни – порой до ее социобиологизации.

Эти аномальные процессы хорошо исследованы на Западе Э.Бэнфилдом, у нас – самим В.П.Булдаковым, но не стоит экстремальную ситуацию и ее характеристики переносить на общество, находящееся в стабильном состоянии.

XX в. в истории России оказался пронизан насилием? Здесь у меня два вопроса:

1. Весь XX век? 1950-е, 1960-е, 1970-е, 1980-е годы?

На первую половину XX в. у нас приходится кризис, Первая мировая и Великая Отечественная войны; последнее десятилетие XX в. – тоже кризис. Кризисы и войны всегда пол-

ны насилия, которое вовсе не характеризует эпоху 50-х – 80-х годов.

2. Только в России XX в. был пронизан насилием?

Агрессивные войны Британской империи, Третьего рейха, США – это насилие, обусловленное крестьянской ментальностью? Классовые битвы в ядре капиталистической системы – тоже?

На мой взгляд:

а) крестьяне не более, а возможно, и менее склонный к насилию слой, чем иные;

б) крестьянская ментальность в СССР с трудом пережила Великую Отечественную войну, почти исчезла в 60-е – 70-е годы – для ее сохранения не было социально-экономической базы; списывать насилие 90-х годов на реликт сознания крестьян, их привычки к насилию – значит нарушать элементарные правила логики и научного анализа, не говоря уж о правде фактов;

в) XX в. был веком насилия во всем мире, и Россия/СССР не были его чемпионами в этом плане.

Вообще нужно сказать, что по части насилия Россию постоянно обгоняли многие другие страны. Достаточно взглянуть на историю Франции, Англии, Китая, Индии, страны арабского мира в XVI–XX вв.

Крестьянство, столыпинская реформа и советская коллективизация

Интересный поворот в дискуссии связан с обсуждением реформы П.А.Столыпина, ее оценкой.

По мнению В.П.Безгина, столыпинская реформа была направлена на интенсификацию экономики крестьянского хозяйства².

Думаю, на самом деле эта цель была даже не второстепенной, а третьестепенной, главные цели носили классовый, социально-политический характер – создать в деревне слой-волнорез зажиточного крестьянства, который станет опорой власти в деревне.

На это совершенно справедливо указывает В. В. Кондрашин: цель реформы Столыпина – создание в деревне прочной опоры самодержавия в лице крестьянина-частника².

Затем эта провалилась: помимо прочего, именно «справные», хозяйственные мужики, на которых так рассчитывал умный горожанин XIX в. Столыпин, в 1916–1917 гг. повели за собой деревенскую голытьбу грабить усадьбы. Пока голытьба жгла библиотеки, гадила в гостиных, тащила рояль на улицу:

*«Недаром чумазый сброд
Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовским фокстрот»*

(С. Есенин),

а потом топила его в пруду, хозяйственные мужики под шумок грузили барское имущество и свозили его к себе во двор.

Это русский крестьянский ответ Столыпину – ничего личного.

Показательно и то, что:

– *во-первых*, Гражданская война «полыхала от темна до темна» именно в тех частях России, где столыпинская реформа достигла наибольших успехов (количественных);

– *во-вторых*, как показывают исследования (в том числе израильского историка М. Конфино), к 1920 г. крестьяне вернули в общинную собственность 99% земли;

– *в-третьих*, самое главное, Столыпину не удалось сломать общину.

Как отмечают участники дискуссии В. А. Бондарев и А. С. Левакин, в 1927 г. общинное устройство в РСФСР охватывало 95,5% земель.

Ответ тем, кто видит в общине и общинной собственности только черты архаики и отсталости, содер-

жится в выступлении В. Э. Багдасаряна. Он подчеркивает: община была социально сильным организмом, имела производственные преимущества над единоличным хозяйствованием, поскольку уравнилельный передел земель и чересполосица обеспечивали устойчивость от воздействия природно-климатических факторов. Очень важно, что технико-инновационный потенциал в общинных великорусских районах был выше, чем в единоличных малороссийских².

В. В. Кондрашин отмечает, что русская деревня страдала от малоземелья, которое, естественно, сохранялось и в 20-е годы и которое в начале века вместе с коммерциализацией стало фактором, обусловившим массовое крестьянское движение начала XX века², – такую мощную серию крестьянских бунтов, по сравнению с которой, как отметил Д. И. Люкшин, «пугачевщина казалась едва ли не невинным развлечением»². И эта стихийная общинная крестьянская революция стала, согласно Кондрашину, частью Великой русской революции. Более того, согласно В. В. Бабашкину, именно крестьянская революция 1902–1922 гг. отдала власть в городе большевикам, а затем коммунално-организованное крестьянство (как тут не вспомнить «коммуналную», или коммунитарную социальность из работ А. А. Зиновьева. – *Авт.*) заставило большевиков в декабре 1922 г. признать де-факто победу общинной революции².

Здесь необходимо добавить: признать временно. Пользуясь терминологией Дж. Скотта, можно сказать, что во время Гражданской войны параллельно развивались две разные

революции – «революция комиссаров» в городах и «революция крестьян» в деревне. Причем эта «зеленая» революция была и по красным, и по белым, что отражалось и в лозунге «Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют» и в равной распространенности «белопогонного супа» и «комиссарского» – это когда варят живьем.

Несмотря на то что антоновское восстание было подавлено, большевикам действительно пришлось пойти на «брестский мир» с собственным народом и ввести НЭП. Но Ленин, заявив, что НЭП вводится надолго (имелось в виду не на одну хлебозаготовительную кампанию, как полагали многие), на несколько лет, сразу же честно предупредил: но мы еще вернемся к террору, в том числе к экономическому. Так оно и вышло – в 1929 г. началась коллективизация.

По поводу коллективизации участники круглого стола высказали разные мнения.

Так, Н.Л.Рогалина считает сталинское раскрестьянивание принудительным, проводившимся административными методами, а стольпинское – естественным². Думаю, русские крестьяне времен стольпинской реформы вряд ли бы согласились с Рогалиной, потому что слишком хорошо знали, как власть проводила ту реформу.

Бабашкин, опровергая тезис Рогалиной, заметил, что стольпинская реформа была обречена на неуспех именно из-за того, что проводилась

самым негодным из всех возможных способов – через задействование административного ресурса, что вызывало в качестве реакции укрепление общины; а это, в свою очередь, обрекало политические теории и политические партии европейского образца на банкротство².

Иначе и быть не могло. Наличие, сохранение общины, ее укрепление как реакция на модернизационное давление вырабатывали совершенно иное представление о собственности, чем на Западе.

Это и зафиксировал Багдасарян: «Если для Запада формула П.Ж.Прудона “Собственность – это кража” звучала как радикальный вызов, то для русских общинников она служила догматом»².

А.П.Скорик подчеркнул, что форсированная коллективизация «устранила из деревни наиболее активных, инициативных и предприимчивых крестьян и ввергла остальных в состояние стресса и хозяйственной апатии»².

Участник круглого стола прав: коллективизация, проведенная руками бедноты и, во многом – об этом надо говорить прямо, деревенских лентяев, горлопанов и бездельников, т.е. сволочи в старом строгом смысле этого слова*.

В то же время уже к концу 30-х годов деревня в целом восстановилась. Выходит, стресс и апатия прошли? И самое главное, стальной, как и хотел Есенин, стала бедная нищая Русь – потому и сломала хребет вермахту. Без коллективизации росписи на рейхстаге были бы невозможны.

* Сравните у Пушкина в «Капитанской дочке»: «Пугачев, собрав несколько сотен сволочи...». Кстати, коллективизация – это ведь во многом институционализируемая пугачевщина, только объект не барин, а свой, такой же мужик, а потому ненавидимый еще больше. Объяснение см. у Н.С.Лескова и А. А.Зиновьева.

Главная, пожалуй, проблема советского раскрестьянивания заключается в том, что если раскрестьянивание английской деревни растянулось на два с лишним столетия, а французской вообще завершилось в 80-е годы (этот процесс хорошо показан в работе А.Мандра «Вторая французская революция, 1965–1984»³), то в СССР решение крестьянского вопроса, который самодержавие так и не смогло решить почти за столетие, заняло менее 10 лет. Это, как и неизбежность коллективизации, было обусловлено и аграрно-крестьянскими, и внеаграрными, и вообще внешними причинами.

Аграрной причиной, обусловившей необходимость скорейшего проведения коллективизации, было, как верно отмечает Кондрашин, именно малоземелье, тупиковость мелкого крестьянского хозяйства России в конце 20-х годов². Еще более категоричен Бабашкин: у коллективизации не было альтернатив².

А.Н.Медушевский считает столыпинскую реформу примером эффективной модернизации, которую противопоставляет коллективизации в СССР.

Впрочем, выступление Медушевского заслуживает отдельного рассмотрения, как пример влияния идеологии, идеологических мемов на научный анализ, на разрушение научности.

Багдасарян сопоставил столыпинскую реформу с советскими преобразованиями в деревне таким образом: «Большевистская революция была в известном смысле контрреволюцией. Она представляла собой реакцию на столыпинское разрушение общинного уклада.

Именно реформы Столыпина имели инновационный характер,

выводили Россию за рамки цивилизационной модели, а потому и являлись подлинной революцией. Напротив, большевистская система колхозов восстанавливала, по сути, под иным идеологическим обрамлением общинные связи»².

Не буду здесь оспаривать ни тезис об инновационном характере столыпинской аграрной реформы, несмотря на факт его труднодоказуемости, ни тезис о том, что большевики восстановили общинные связи, – это тоже не так. В СССР был создан иной, необщинный тип коллективной социальной организации, основанный на совершенно ином типе собственности, кстати, исключающем общинность, и на совершенно ином типе отношений с властью. Кто не слеп, тот видит, как говаривал один из крупнейших деятелей советской эпохи.

Меня в интерпретации Багдасаряна зацепило другое.

Во-первых, революцию он отождествляет с буржуазным типом, путем развития. Так что же, получается, революции бывают только буржуазные? Такой подход надо обосновывать. А как же социалистические революции, это что, миф?

Во-вторых, революцией, по Багдасаряну, является выход России за рамки прежней цивилизационной модели. Получается, что столыпинские революционные реформы обещали покончить с тысячелетней цивилизационной моделью России, а большевики своей эту модель сохранили, и это не что иное, как контрреволюция.

Таким образом, подлинный цивилизационный рывок связывается с уничтожением русской цивили-

лизационной модели и установлении буржуазного строя – новой цивилизации.

Подобного рода тезис Багдасаряна опасно близко подходит к позиции двух известных русофобов – печальной памяти «прораба перестройки» А.Яковлева и полубразованного спекулянта на исторические темы А.Янова.

Первый в своих «омутных» мемуарах выразился в том смысле, что своими действиями перестройщики сломали хребет парадигме тысячелетней русской истории, а второй в одном из последних номеров журнала «Сноб» сообщил о том, что русской цивилизации осталось 3–4 года.

Я уверен в том, что Багдасарян не солидарен с двумя этими персонажами, однако, согласно логике его аргументации, революционным изменением оказывается именно цивилизационный слом.

Я полагаю, что смена цивилизационной модели – это не революция, это крах и гибель. Революция – это смена типа собственности и власти. При этом различные революции оказывают различное влияние на те или иные цивилизации.

В России буржуазная революция – это слом цивилизации (мы это наблюдаем с 1991 г.), путь к неоварварству, упадку и социальному одичанию.

Антикапиталистическая революция в России создает новую систему в рамках одной и той же цивилизации, к которой, кстати, относилось и самодержавие, рухнувшее в 1917 г. И только антикапиталистические революции решают проблемы России, спасая ее органику от небытия.

Политэкономия пореформенной России не позволяла решить аграр-

но-крестьянский вопрос не только по причинам, которые коренились в аграрном секторе, но и по причинам, связанным с логикой развития капитализма в России. На одну из таких причин указывает Люкшин: в России процессы капитализации и процессы развития национального рынка оставались относительно автономными², и это оказывало влияние на аграрную сферу, блокируя возможности развития по западным образцам, столь любезным некоторым нашим историкам.

Добавлю еще одну причину подобного рода, связанную с принципиальной деформацией капиталистического развития в России. В ядре капиталистической системы первоначальное накопление капитала, некапиталистическое по своей сути (силовой передел собственности), предшествует собственно капиталистическому. Однако на периферии и полупериферии капсистемы отношения между этими процессами носит не диахронический, а синхронический характер, причем первоначальное накопление деформирует, подсекает, а то и блокирует развитие капиталистических отношений. Происходя в масштабе экономики в целом, это оказывает воздействие и на аграрную сферу, в результате чего нередко происходит разложение старого без возникновения нового, а реакцией на разложение одних сегментов становится консервация других. В таких условиях товарное развитие аграрной сферы если и происходит, то, во-первых, в очень ограниченных рамках, а во-вторых, чаще ведет к регрессу, чем прогрессу.

Это и была ситуация русской пореформенной деревни, оставившая

только один выход – форсированной коллективизации, создания крупного коллективного хозяйства.

Коллективизация была последним актом Большой Смуты 1860–1920 гг. и, что еще важнее, Гражданской войны.

Обычно пишут о том, что режим таким образом решал зашедшую в тупик проблему товарообмена между городом и деревней, который он не смог организовать экономическими методами, о задаче ликвидации властью массового слоя частных собственников общества, построенном на отрицании частной собственности, о неприязни режима к крестьянству как отсталой и серой массе, о том, что в коллективизацию жестоко ломали деревню, часто вырывая из нее лучших работников, не желавших, задрав штаны, бегать в одном строю с деревенскими лоботрясами и пьяницами.

Все это так, но это лишь самый поверхностный уровень. Это одна правда, причем самый видимый ее слой. Но есть и другая правда – правда не краткосрочной конъюнктуры, а долгосрочной истории, правда не отдельного слоя, а социального, государственного целого. Собственно, трагедии в истории и происходят, когда сталкиваются стороны, у которых своя правда. Еще более трагично то, что историческую, целостную правду нередко персонифицируют мерзавцы.

У коллективизации как одной из русских трагедий несколько источников и составных частей. Она была резким, почти одномоментным (5–7 лет), жестоким решением сразу нескольких проблем различной исторической длительности и различно-

го масштаба (аграрная сфера, система в целом, страна, мировой уровень) проблем, без решения которых прекратил бы свое существование не только СССР, но русский цивилизационный комплекс.

Проблемами значительной исторической длительности были аграрная и крестьянская.

Чтобы в Центральной России жить с земли, нужно иметь 4 дес. на человека. В 1913 г. было 0,4 дес. – то был финал относительного аграрного перенаселения, стартовавший еще в начале XIX в.

Выход из зашедшего в тупик мелкого землевладения один – крупное землевладение. Крупное индивидуальное землевладение – столыпинский вариант – русский мужик отверг, реформа провалилась: даже под нажимом властей только 25% крестьян вышли из общины, а к 1920 г. крестьяне силовым путем вернули в общинную собственность 99% земли.

В таких условиях оставался только вариант крупного коллективного хозяйства, который в целом соответствовал традициям русского крестьянина и был реализован посредством коллективизации при поддержке основной массы крестьян, но вопреки воле значительной (до 25%) и вовсе не худшей части самого крестьянства.

Еще одна долгосрочная проблема – социальный контроль над крестьянством, утраченный властью после 1861 г.

Тогда на место внеэкономических производственных отношений пришли экономические. Дело, однако, в том, что внеэкономические производственные отношения выполняли еще и важнейшую внепроизвод-

ственную функцию – социального контроля, которая после 1861 г. провисла: у позднего самодержавия не было институтов, способных обеспечить эффективный социальный контроль над огромной массой крестьянства.

Положение о земских участковых начальниках (1889 г.) не решило проблемы, которая начала обостряться, достигнув кульминации в начале XX в.

Крестьянская проблема была решена большевистским режимом за счет раскрестьянивания. Но так решался крестьянский вопрос в XIX–XX вв. во всем мире. Особенность раскрестьянивания в СССР не в его жестокости – здесь все рекорды бьют англосаксы, а в его сжатых сроках и проведении на антикапиталистической основе, т.е. в ориентации на интересы не кучки сельских и городских богачей, а основной массы сельского населения.

Да, у сопротивлявшихся коллективизации крестьян была своя правда – правда маленького мирка, которому плевать на большой мир национального целого.

Фон Раупах в мемуарах вспоминает, как в 1915 г. беседовал не то с костромским, не то с вологодским крестьянином, отказывавшимся платить налоги. На вопрос фон Раупаха, что будет, если все перестанут платить налоги, войну Россия проиграет и немец дойдет до Костромы/Вологды, крестьянин ответил: не дойдет, а если дойдет, тогда ему налог и заплатим.

Невозможно представить, чтобы немецкий бауэр мог произнести такие слова – он мыслит себя элементом национального целого.

Не будь коллективизации, не встретить русский крестьянин войну в качестве советского человека, трансформированного коллективизацией,

пусть и не до конца, мировые проблемы в лице Гитлера и зондеркоманд, выполняющих план «Ост», достали бы русского крестьянина.

В войне победил не русский крестьянин, а русский советский человек, советская – сталинская – система, создавшая государственное целое с помощью коллективизации.

И здесь мы подходим к самому главному.

Коллективизация стала радикальным прорывом из интернационал-социалистической клетки, в которой Россия отбыла десятилетний срок между 7 ноября 1917 г. и 7 ноября 1927 г. (попытка троцкистского путча) к государству квазимперского типа, которое строит социализм в своих пределах, а не несет мировую революцию вовне, расшатывая мир в интересах фининтерна.

Коллективизация стала логическим следствием перехода от интернационал-социализма к национал-большевистской, импер-социалистической стратегии, ориентированной на создание современного промышленного общества, в которое сельское население интегрировано в качестве элемента целого.

Начало коллективизации (1929 г.) не случайно совпало по времени с разгромом бухаринской команды, высылкой Троцкого из СССР, резкой активизацией британцев в продвижении Гитлера к власти, закрытием Британской империи (25% мирового рынка) от «остального» мирового рынка стараниями директора Центрального банка Великобритании Монтегю Нормана и началом мирового экономического кризиса.

Надежды банкиров Нью-Йорка и Лондона, о которых Троцкий говорил, что они-то и есть главные революционеры, на переустройство мира

посредством мировой революции рухнули – Россия вышла из «проекта». Теперь расчет «Мировых хозяев» был на мировую войну, началом подготовки к которой и стал 1929 г., война, которая, помимо прочего, должна была стереть русский народ с лица земли.

В таких условиях советский режим должен был резко ускорить коллективизацию, причем главным образом не в экономических целях (хотя и в них тоже – в условиях мирового кризиса упали цены на промышленное оборудование, которое, ловя момент, следовало закупать), а в социальных, социосистемных, в целях сохранения и развития национального целого. Только дом, не разделившийся в самом себе и к тому же современный по конструкции, мог рассчитывать на победу в войне с англосаксонско-германскими хищниками.

Коллективизация вытаскивала страну из ловушки 20-х годов, из комплекса проблем, возникших в XIX в., была единственным способом, хотя и жестоким, спасти СССР и русскую цивилизацию – по трагической диалектике истории – ценой раскрестьянивания русского крестьянства, ценой нескольких миллионов жизней.

Была ли коллективизация жестокой? Без сомнения. Как и многое в России, да и не только в ней.

Во-первых, все переломы в истории вообще и раскрестьянивания в частности – штука жестокая, но например, до жестокостей английского раскрестьянивания России она как далеко.

Кроме того, как стало известно из недавно рассекреченных в США до-

кументов, во время Великой депрессии 1929–1933 гг. (т.е. одновременно с советской коллективизацией) в богатой Америке от голода умерло 5 млн американцев. А ведь США начала 30-х годов не были истерзаны мировой и гражданской войнами. Но почему-то англичанам и американцам счет не предъявляется.

Во-вторых, у массовых процессов – своя логика, и логика жестокая, и центральная власть сделала немало, чтобы эту жестокость умерить.

В-третьих, чем дольше откладываются социальные/управленческие решения, чем больше копится проблем (а самодержавие с 60-х годов XIX в. накопило их достаточно много), тем больше социальное напряжение, социальная ненависть, социальный гнев, которые и рванули во время коллективизации. О социальном динамите, который вырабатывался уже непосредственно НЭП, я уже не говорю.

Во время коллективизации одна часть народа экспроприировала другую, при этом, как всегда бывает в таких ситуациях, в первых рядах экспроприаторов было много тех, кого И. Солоневич называл биологическими подонками человечества, – революции так и совершаются (мораль – не надо доводить до ситуаций, когда революция оказывается единственным способом решения проблем).

Результатами коллективизации, которые были уже вполне очевидны к концу 30-х годов, пользовалось практически все население страны, включая прежде всего коллективизированных.

Какой контраст с экспроприацией 90-х годов, когда кучка социопатов экспроприировала народ в це-

лом, реализовав на криминально-капиталистический правоглобалистский манер троцкистский интернационал-социалистический проект превращения России в сырьевой придаток Запада; в хворост, но только не для мировой революции, а для мировой неолиберальной контрреволюции. Последняя в условиях конца XX в. решала иным способом те задачи, которые не решились для верхушки мирового капиталистического класса интернационал-социализм и национал-социализм.

В постсоветский период советское обществоведение неоднократно (и часто справедливо) подвергалось критике за его идеологизированный характер, который деформировал научные исследования, подменяя научность коммунистической идеологией⁴.

Либеральная идеология в одном отдельно взятом выступлении, или «Разруха в головах»

Речь идет о выступлении А.Н. Медушевского, которое посвящено проблеме альтернативности решения аграрного вопроса в предреволюционной России⁵. Почти одновременно с участием в круглом столе Медушевский выступил с одноименным докладом на крестьяноведческом семинаре, в котором есть некоторые добавления к «круглостольному» тексту⁶. Выступление и доклад представляют собой единый концептуальный блок.

Начну с определения докладчиком сути аграрного вопроса. По мнению Медушевского, аграрный вопрос «есть теоретическая (*sic!* – *Авт.*) конструкция (*sic!* – *Авт.*), выражающая кризис традиционного обще-

Прошедшее двадцатилетие показало: идеология никуда не ушла из научной сферы, она сменилась на либеральную, причем, как правило, в самом что ни на есть примитивном, вульгарном варианте. Впрочем, это неудивительно: сегодняшние вульгарные либералы – это вчерашние вульгарные марксисты, нередко с партбилетом в кармане, т.е. цирк уехал – клоуны остались, неважно, марксист или либерал, осталась вульгарность.

Среди выступлений круглого стола есть одно, в значительной степени пронизанное идеологией и в этом плане – модельное, ярко показывающее, как примат идеологичности над научностью деформирует научный дискурс, снижает его уровень, по сути, разрушает, демонстрируя то, что М.Булгаков называл «разрухой в головах».

ства в условиях модернизации и развития рыночных отношений»². В докладе Медушевский добавляет, что аграрный вопрос существует там, где осознается несправедливость в распределении земельных ресурсов **независимо от реальной ситуации в экономике страны** (выд. – *Авт.*).

Обращают на себя внимание три момента, причем все связаны не только с научно-теоретической проблематикой, но и с элементарной логикой.

Первый заключается в том, что аграрный вопрос трактуется прежде всего как теоретическая конструкция, а не как реальность.

Это как в анекдоте: слово, обозначающее определенную часть тела есть, а самой этой части нет.

Далее, аграрный вопрос преподносится как теоретическая конструкция, а такие конструкции, как известно, создают ученые. Но Медушевский утверждает, что аграрный вопрос существует там, где **осознается** несправедливость распределения земли. А осознаваться-то она может прежде всего самими крестьянами.

Выходит, это крестьяне создают теоретическую конструкцию «аграрный вопрос»?

Или ученые (например, Медушевский), чутко чувствующие ощущение крестьянами несправедливости и превращающие его в теоретическую конструкцию?

Вот только одна загвоздка: как, не будучи крестьянином, ученый может влезть в его шкуру? Или поверит на слово?

Так не у кого спросить – 100 лет назад как померли. Статистика осталась? Но это уже объективный показатель.

Далее. Как сам крестьянин определяет, справедливо или несправедливо распределение земли? Предупредил же докладчик, что осознание несправедливости распределения ресурсов не зависит от реальной экономической ситуации, т.е. от объективных условий. Но ведь как-то крестьяне самим себе должны объяснять, справедлив тот или иной порядок или нет? Должны же быть хоть какие-то объективные реально-экономические критерии, пусть примитивные, приземленные. Ведь не с бухты-баракты крестьяне определяют нечто как несправедливое и в этом случае могут начать пассивное или активное сопротивление, – серьезный выбор, ставящий на кон многое, а порой все.

Представить иное, значит, посчитать крестьян идиотами в исходном греческом смысле слова: идиот – это человек, который живет так, будто окружающего мира не существует. Разумеется, есть люди, которые так и живут, их немало, например, среди ученых, профессоров (классика – жюль-верновский Паганель, да и не только он). Крестьянин себе такой роскоши позволить не может – рискует умереть от голода вместе с семьей.

Конечно же, есть у крестьян вполне объективные критерии, но только они свои, крестьянские, а не городские и капиталистически-рациональные. Дж. Скотт заметил, что для крестьянина, например, важно не сколько взяли, а сколько осталось.

Поэтому если у него взяли один мешок зерна, а было всего два, он может взяться за вилы, а если взяли пять, но из десяти – лишь огрызнется.

Не только разные типы хозяйства, но и разные социальные группы диктуют разные представления о рациональности и ценностях. Дж. Оруэлл как-то написал, что если для интеллектуала социализм – это вопрос теоретических штудий (или, как мы слышали, конструкций), то для работяги – это лишняя бутылка молока для его ребенка (и дополним его Р.Ларднером – кусочек мяса для самого работяги).

Второй момент. По Медушевскому выходит, что аграрный вопрос – это проблема сферы сознания, субъективной сферы. Перед нами обычное для последних десятилетий выворачивание вульгарного марксизма наизнанку: в вульгарном марксизме главная роль отводилась экономическим факторам, понятиям и трак-

туемым на капиталоцентричный манер.

Акцентирование сферы сознания, субъективного, культуры есть всего лишь изнанка вульгарного марксизма, а изнанка, как известно, всегда хуже лицевой стороны. Это как с цивилизационным подходом, противопоставляемым сегодня формационному.

Известный представитель цивилизационного подхода как-то объяснял мне: формационный подход акцентирует значение базиса, а цивилизационный – надстройки. Ясно, что на самом деле это никакой не цивилизационный подход, перед нами «надстроечная версия» вульгарного марксизма, которая пришла ему на смену. И еще перед нами неодоغمатизм, отличающийся от палеодогматизма лишь расстановкой акцентов, тогда как исходные положения и определения (что такое экономика, культура и т. д.) остаются прежними. В этом смысле дискуссии двух последних десятилетий между палеодогматиками и неодогматиками это нечто вроде схватки скелетов над пропастью.

Третий момент. В качестве теоретической конструкции аграрный вопрос относится Медушевским к эпохам кризиса традиционного общества в условиях модернизации и развития рыночных отношений. Значит ли это, что аграрный вопрос возникает только в условиях кризиса перехода от доиндустриального, традиционного (феодализм) к индустриальному (капитализм) обществу? А что, в доиндустриальных, а точнее, докапиталистических, обществах кризисов не бывает и аграрный вопрос не возникает? А как же

аграрные кризисы античного общества? китайского? исламских?

По логике докладчика, во всех этих обществах аграрный вопрос возникнуть не может. Как говорит молодежь, это круто.

Например, ось всей истории Китая – это аграрные кризисы, сметавшие династии; так что же, не было там аграрного вопроса? Так сказать, кризис без вопроса или безвопросный аграрный кризис.

В чань-дзен-буддизме это называется «хлопок одной ладонью». Но мы же не чань-и не дзен-буддисты.

Показательно, что на правильно поставленный в ходе обсуждения доклада А.В.Гордоном вопрос об аграрном вопросе в Риме времен Гракхов докладчик, по сути, не смог убедительно ответить.

Вот какое определение аграрного вопроса дает Большая советская энциклопедия 1949 г.: «Аграрный вопрос – вопрос о земельных отношениях, классах и классовой борьбе в деревне, об экономических законах сельского хозяйства». Абсолютно четкое определение, в котором нет ничего лишнего.

Ведь помимо прочего, своими «завитушками» о том, что аграрный вопрос это типа кризис традиционного общества в условиях модернизации, и о том, что он существует там, где осознается несправедливость, Медушевский нарушает базовый принцип научного исследования – правило «бритвы Оккама»: *entia non sunt multiplicanda praeter necessitate* («не следует умножать сущностей сверх необходимого»). О субъективизации проблемы я уже не говорю.

На самом деле аграрный вопрос это, конечно же, не субъективная, а вполне объективная проблема. Опре-

деляется он соотношением аграрного населения и земельных ресурсов (площадь земли, ее урожайности) в условиях определенного типа собственности, а выражается в том, что называется *subsistence minimum*, т.е. минимум существования. Речь идет о том, уважает ли существующая система право крестьянина на жизнь, – этим и оценивается, справедлива она или нет.

Теперь о терминологии. Медушевский, особенно в докладе, пользуется терминами «доиндустриальное общество», «индустриальное общество». А ведь это что ни на есть экономоцентричные термины, отражающие сферу труда, т.е. присваивающего отношения человека к природе, а не отношения человека к человеку в процессе этого присвоения; для определения этого отношения нужны другие термины, например, «капитализм».

Капитализм, кстати, возникает на 150–200 лет раньше индустриальной системы производства, «индустриальное общество» развивается из него, а не из «традиционного общества» – об этом, особенно в последние десятилетия, написан целый пласт исследований, которые надо знать. Кстати, «индустриальных обществ» (производственно-технический тип) было два – капиталистическое и социалистическое (антикапиталистическое), т.е. на одной производственной основе два принципиально разных типа собственности, присвоения продукта. О том, что в рамках так называемых «традиционных обществ» было несколько **качественно и стадийно** различных типов, я уже и не говорю.

Маркс определял социальную систему не через сферу труда (процес-

са действительного производства), а через логически предшествующую ей сферу распределения факторов производства. Именно она определяет совокупный процесс общественного производства, придавая ему то или иное социосистемное качество – рабовладельческое, феодальное или капиталистическое.

Это лишний раз свидетельствует о том, насколько вульгарно-экономическими и вульгарно-материалистическими являются теории «традиционного» и «индустриального» обществ вообще и с точки зрения изучения крестьянства в частности. Не было никакого «индустриального общества» – был капитализм, породивший индустриальный тип производства. Не было «традиционного общества» – были различные типы докапиталистических обществ, и только одно из них – феодальное – породило капитализм (причем именно в аграрной сфере!) в результате кризиса «длинного XVI века» (1453–1648 гг.).

Жаль, что в начале XXI в. исследователи пользуются схемами, устаревшими уже в 60-е – 70-е годы. Ну что ж, до сих пор актуальны и Пушкин с его «мы ленивы и нелюбопытны», и Михайловский с его фразой о том, что Россия в идейном плане ведет себя по отношению к Европе как служанка, донашивающая за госпожой вышедшие из моды шляпки. К счастью, не вся Россия.

Рассуждая о модернизации, Медушевский сравнивает два варианта – «путем “революции снизу” (реализовавшейся в России, Китае, Мексике) и “революции сверху” в других странах XX в., позволившей избежать конвульсивного революционного взрыва»², явно отдавая предпочтение

первым (об этом свидетельствует определение «конвульсивный»), но не называя их. С учетом того что отталивается Медушевский здесь от схемы Б. Мура, изложенной им в работе «Социальное происхождение диктатуры и демократии» (1966 г.), речь может идти только о Германии, Италии и Японии. Впрочем, это и без отсылки к Муру ясно – по логике вещей.

Здесь два момента – содержательный и методологический (или, если угодно, историко-научный).

Содержательный момент заключается в следующем. Действительно, революции в России, Китае и Мексике были жестокими и кровавыми, как это вообще бывает с революциями – достаточно вспомнить Французскую (1789–1799 гг.), а если добавить к двум этим «пятилеткам» еще и «экспортный вариант» Французской революции – наполеоновские войны, то это вообще будет «этиюд в багровых тонах». Дело, однако, в том, что режимы, которые Медушевский противопоставляет «конвульсивно-революционным», оказались намного более конвульсивными – все они суть агрессоры Второй мировой войны, которые ввергли мир в такую суперконвульсию, которая русским, китайским и мексиканским революционерам и не снилась; революции в этих трех странах в целом не вышли за границы этих стран. А вот «революции сверху» в странах будущей оси «Берлин – Рим – Токио» превратились во Вторую мировую войну, в которую они логически перетекли.

Методологическая сторона дела заключается в следующем. Мур написал сильную работу, причем наиболее сильное в ней вовсе не типология, которую использует докладчик.

Эта работа почти полувековой давности. Многие в ней не устарело, однако за прошедшие десятилетия написано немало веховых работ по проблеме революций, коммунизма и национал-социализма, которые побуждают по-новому взглянуть на крупнейшие революции современной эпохи. К сожалению, отставание от мирового научного информпотока вообще и концептуального в частности остается серьезной проблемой российских исследователей. В известном смысле ситуация хуже, чем в советское время – проявлений научного провинциализма сегодня стало значительно больше.

Помимо методологических ошибок среди тезисов Медушевского есть просто легковесные заключения, которые, будучи обусловлены, на мой взгляд, скорее вненаучными, идеологическими пристрастиями, не делают чести профессионалу. Например, тезис о том, что реформы Столыпина, фигуру которого у нас по вполне понятным идеологическим причинам раздувают, предотвратили революцию. В реальности все наоборот: они ее ускорили. Были те, кто предупреждал Столыпина о вероятности именно такого развития событий, но он, умный городской человек XIX в., так и не понявший, что наступил век XX, и не очень хорошо осознававший деревенские реалии, не послушал.

Разумеется, здесь можно запеть любимую песню как либералов, так и марксистских модернизаторов-«прогрессоров» о косном или даже иррациональном или наивном сознании крестьян, не понимающих своего буржуазного счастья и капиталистического светлого будущего,

сознания, которому противопоставляется некий здравый смысл (опять же буржуазный).

Думаю, в научном плане после выхода книги Скотта «Моральная экономика крестьянина» и дискуссии «моральный крестьянин» *versus* «рациональный крестьянин» *versus* «религиозный крестьянин»⁷, это просто невозможно. За «здравым смыслом», противопоставляемым крестьянской «иррациональности» (последняя на самом деле есть рациональность хозяйства, которое представляет собой единицу производства и потребления одновременно), скрываются представления о частной собственности и рынке как универсальных нормах исторического развития, т.е. наличие нарушение принципов историзма и системности. Европейский буржуазный *теит* навязывается в качестве *verum*: да здравствует капитализм!

Удивление вызывает и тезис из Медушевского о том, что такие реформаторы, как Бисмарк, «а позднее Карранса и Кемаль, показали, каким образом радикальные социальные реформы выступают эффективной альтернативой революционной модели образца 1905 г. «Революция сверху», которая в России планировала в сравнительной перспективе значительно более конструктивные правовые возможности, решения аграрного вопроса, нежели революционная модель, основанная на наивных представлениях масс об уравнительной справедливости, но ведущая к ретрадиционализации общества и фактически отказу от полноценной аграрной модернизации»².

О том, насколько наивными были представления крестьян, обуслов-

ленные реальностью тяжелой крестьянской жизни, а не тем, что думает об этом Медушевский, сидя за письменным столом, я уже сказал, здесь же отмечу лишь следующее. Полноценной аграрной модернизацией Медушевский считает ту, которая не основана на наивных представлениях крестьян, т.е. такую, которая может быть только навязана крестьянству силой вопреки их представлениям. Хорош либерал?!

За что же тогда пинать советскую коллективизацию, которая тоже проводилась насильственно (правда, это насилие поддержала значительная часть жителей деревни). Налицо явный когнитивный диссонанс докладчика, во-первых, а во-вторых, предпочтение, которое он отдает капиталистической, фермерской модернизации как единственно эффективной перед социалистической. Ну что ж, эту «эффективную» аграрную модернизацию мы хлебем уже 20 лет. К тому же Медушевскому почему-то не приходит в голову мысль о том, что далеко не все сельхозсистемы поддаются капиталистической модернизации и что кроме экономической эффективности есть еще социальная эффективность.

Теперь о фактах. Бисмарк действительно был реформатором, правда, вовсе не радикальным. Но главное не в этом. Немецкое сельское хозяйство, аграрный строй Германии были принципиально иными, чем таковые в России. Иным были и крестьянство (необщинное), и господствующий класс, и его отношения с крестьянством. Эта аналогия проваливается.

Что касается Каррансы, то, по видимому, Медушевский его с кем-то

явно спутал. Вступив на пост президента в 1917 г. Карранса пренебрег обещаниями реформ, в том числе аграрной, о которой говорил во время гражданской войны. Крестьяне так и не получили обещанную им землю. Национальная аграрная комиссия раздала лишь 450 тыс. акров 48 тыс. семьям – насмешка над аграрной реформой. Если Медушевскому это представляется успехом, то что такое неудача? То, именем чего Мадеро свергал Диаса, а Карранса – Уэрту, не было выполнено (это не говоря уж об убийстве Сапаты в 1919 г. и подавлении крестьянского и рабочего движения).

В результате в 1920 г. Карранса был убит, а последние сапатисты согласились сложить оружие только после того, как правительство обещало предоставить в их владение захваченные в Морелосе земли, – Морелос был первой областью, добившейся проведения аграрной реформы. Добившейся в результате революционной борьбы, а не реформы сверху.

Аграрная реформа Кемаля в Турции действительно была относительно успешной, но можно ли сравнивать Турцию, кардинально отличающуюся в природно-хозяйственном и историческом плане от России? Если да, то сначала надо обосновать принципы и критерии сравнения. А так, по принципу «черного ящика» можно сравнивать и человека с утюгом – управляемые системы (кибернетика).

Курьезным выглядит методика сравнения: сравниваются осуществившиеся **в реальности** результаты того, что Медушевский назвал «революцией сверху», и то, что **пла-**

нировал Столыпин, но то, что не осуществилось в реальности.

Как же можно сравнивать сбывшееся и несбывшееся?

И еще одно: для Медушевского одно и то же «революционная модель образца 1905 г.» и модель, которая привела к «ретрадиционализации общества», т.е. советская коллективизация. Но ведь это совершенно разные вещи, к тому же опять, в 1905 г. «наивные» чаяния крестьян не реализовались (откуда в таком случае «модель?»), а вот в 1929–1933 гг. действительно реализовалась некая модель, которую Медушевский признает соответствующей крестьянским представлениям.

Не выдерживает, на мой взгляд, интерпретация результатов преобразования деревни в СССР как ретродиционализации. Что значит ретродиционализация? В СССР что, было восстановлено крепостничество? Нет. Общинная организация? Нет.

Попытки трактовать советское общество, которое со всей очевидностью было обществом Модерна, как восстановление докапиталистических порядков, не новы. Об этом писали К.Витфогель, Р.Гароди и др. Вот только аргументов нет – как и ответов на вопрос, что же «ретрадиционного» было в советском обществе? Индустрия? Современное образование? Семья современного типа?

Что касается эксплуатации со стороны государства, то, например, при государственно-капиталистическом капитализме (надеюсь, не «традиционное общество») государство выступает субъектом эксплуатации. И что – это ретродиционализация? Некапиталистический и аграрный почему-то воспринимается как «тради-

ционный» или «ретрадиционализированный». А почему не «посткапиталистический», «посттрадиционный»?

Совершенно бездоказателен тезис доклада о том, что коллективизация – это тупик. Тупик – это столыпинская деревня и вымирающая постсоветская. Советская деревня жила. Я уже не говорю о роли коллективизации с точки зрения социального целого, о том, что без этого невозможно было создать современное общество. Но если брать только аграрный сегмент социума, то нелишне вспомнить, как русский крестьянин отреагировал на столыпинскую реформу и к каким результатам она привела. Хочется еще раз спросить: а что не тупик в русских условиях? Фермерское хозяйство? И разве не показательно, что после двадцатилетия либеральных реформ нормально живет именно та часть деревни, где сохранились колхозы. Напомню также о поразительных успехах колхозно-совхозного хозяйства в 1990–1991 гг. по сравнению с плюгавством постсоветского сельского хозяйства.

Ну и три мелочи напоследок.

Тезис о политических системах Наполеона III, Бисмарка и Столыпина как прообразах тех режимов, которые «становились реальной альтернативой стратегии Коминтерна в других регионах мира»². Это, что называется, сапоги всмятку. Отменили большевики преподавание в школе логики как одной из буржуазных дисциплин, а последствия ощущаются до сих пор. Ну как можно ставить в один сравнительный ряд режимы и стратегии, т.е. структуры и процессы? Это, *во-первых*.

Во-вторых, политические системы Наполеона III и Бисмарка дей-

ствительно имели место быть, а вот «политической системы Столыпина» не существовало – существовало самодержавие, исключавшее какую бы то ни было властную систему, кроме себя самого.

В-третьих, «реальной альтернативой стратегии Коминтерна» и советскому режиму были стратегии и режимы национал-социалистического и фашистского типа (Германия, Италия, Япония), а вовсе не кемалистский, гомильдандовский и (совсем уж смех) каудильистские и авторитарные режимы Латинской Америки. Надо называть вещи своими именами.

Тезис доклада о том, что Коминтерн пытался экспортировать аграрную революцию. У меня вопрос: куда? Где он собирался организовать «черный передел»? В Германии в 1923 г.? Во Франции? Может, в США? В странах, где победили «крестьянские революции», например, в Китае и Вьетнаме, аграрная реформа (по сути – революция) была проведена без всякого Коминтерна.

Тезис о том, что Дэн Сяопин и его преемники в Китае сделали то, что недоделал Столыпин в России, вообще трудно комментировать. Россия начала XX в. и Китай конца XX в., русская и китайская формы крестьянской организации, Россия и Китай как типы социума, эпохи – все это настолько различно, что тезис просто повисает. Как говорил классик советской эстрады, «тщательнее надо, тщательнее».

Доклад А.Н.Медушевского – частное проявление того, что «переходная» фаза в нашем обществоведении, по крайней мере, для некоторых ее представителей, затянулась. Налицо

комбинация стремления отказаться от научной программы марксизма (без адекватного понимания и предварительного выяснения, что это такое) и некритического – до бессознательности – восприятия капиталоцентричного дискурса устаревших и сданных в утиль несколько десятилетий назад западных идеологов «традиционное общество», «модернизация», «индустриальное общество» вкупе с неспособностью или нежеланием понять, что это не столько научные теории, сколько именно идеологемы⁸. А замешано все это на неприятии советского опыта развития без какой-либо попытки понять этот опыт системно-исторически.

И, наконец, последнее: на постсоветском (он же антисоветский) «либе-

рализме» лежит тяжелая печать худших образцов советского коммунизма, порождением которого он является. Эта печать – сочетание догматизма, идеологизированность (место «научного коммунизма» занял «научный либерализм»), слабой профессиональной подготовки, отставание от мирового научного информпотока и нелады с логикой.

При этом если у советского коммунизма была пусть примитивная, но самостоятельная мысль, то у его внебрачного дитяти «антисоветского либерализма» – коррелята гайдарочубайсовщины в экономике – ничего своего, все заемное, все с чужого плеча: и традиция, и модернизация, и прочая сданная на самом Западе в утильсырье продукция.

Post Scriptum

П одводя итог, можно сказать, что организаторы и участники второй крестьяноведческой дискуссии постарались удержать профессиональную и интеллектуальную планку на той высоте, на которой «сработала» первая дискуссия.

Что особенно важно – был поднят ряд проблем, выходящих за рамки крестьянского вопроса и максимально приближающих споры к сегодняшнему дню.

Дискуссия также показала, что рано говорить о конце идеологии вообще и о конце идеологии в науке в частности: место коммунистического дискурса в качестве мейнстрима занял либеральный с большим количеством «родимых пятен» коммунистического эдакий коммунизан-либерализм, неопиты которого, как это всегда бывает с неопитами, стремятся быть святее папы – со всеми вытекающими отсюда издержками для собственно научного исследования.

Появление либерально-антикоммунистической, антисоветской версии социальной науки и исторического дискурса не удивительно – ни конформизма, ни желания угодить власти никто не отменял.

Воланд прав: люди не меняются, меняются времена, которые ставят новые научные задачи.

Вот их и надо решать. Идеологии приходят и уходят, научный поиск остается, и можно лишь поздравить организаторов круглого стола, что такого поиска было больше, чем дешевой идеологии.

Примечания

- ¹ *Марченя П.П., Разин С.Ю.* Международный круглый стол «Крестьянство и власть в истории России XX века». 2-я часть // *Власть*. 2011. № 9. С. 182–184.
- ² *Крестьянство и власть в истории России XX века*. Сб. науч. статей / под ред. П.П.Марченя, С.Ю.Разина. М.: АПР, 2011. С. 134, 128, 89, 226, 81, 225, 253, 73, 314, 71, 87, 324, 230, 263, 266, 280, 281 // URL: <http://www.isras.ru/publ.html?id=2416>
- ³ *Mendra H.* La seconde révolution française. 1965–1984. P., 1994.
- ⁴ *Foursov A.* Social Times, Social Space, and Their Dilemmas // *Ideology “in One Country”*. Он же. Review. Binghamton (N. Y.). 1997. Vol. XX. № 3/4. P. 345–420; *Фурсов А. И.* Манифест коммунистической партии, или 150 лет спустя // *Русский исторический журнал*. 1998. Т. I. № 1. С. 267–300; Он же. Биг Чарли, или О Марксе и марксизме: эпоха, идеология, теория // *Русский исторический журнал*. 1998. Т. I. № 2. С. 335–429; Он же. Идеология и идеология // *Кустарев А.* Нервные люди. М., 2006. С. 7–47; Он же. Интеллигенция и интеллектуалы // Там же. С. 48–86.
- ⁵ *Марченя П.П., Разин С.Ю.* Международный круглый стол «Крестьянство и власть в истории России XX века». 1-я часть // *Власть*. 2011. № 8. С. 163–164.
- ⁶ *Марченя П.П., Разин С.Ю.* Крестьянский вопрос как фактор российских реформ и революций // *Обозреватель–Observer*. 2011. № 11. С. 31–37, 40–42.
- ⁷ *Фурсов А.И.* Проблемы социальной истории крестьянства Азии. М., 1986. С. 122–159.
- ⁸ *Фурсов А.И.* «Традиционное общество» или «мировая экономика»? Конфликтующие парадигмы развития азиатских обществ в новое и новейшее время // *Традиционное общество и мировая экономика: Критика теорий модернизации*. М., 1981. С. 80–141; Он же. Развитие азиатских обществ XVII – начала XX в. // *Современные западные теории*. М., 1990–1991. Вып.1–3.

**Подписка на 2012 г.
на журнал “Обозреватель – Observer”
в каталоге «Газеты и журналы»
агентства «РОСПЕЧАТЬ»:**

47653 — на полугодие

36789 — на год